



Василий Арбатов

# Таксистские истории

СОДЕРЖИТ  
НЕЦЕНЗУРНУЮ  
БРАНЬ

18+

# Василий Арбатов

## Таксистские истории

*<https://litres.ru/73890426>*

*SelfPub; 2026*

### Аннотация

Русские таксисты есть во многих странах мира. Разные люди, разные судьбы, но неизменно одно - все они в итоге, оказываются за рулём автомобиля-такси и перевозят пассажиров в городах и странах нашего огромного мира. Книга написана уже со слов разных водителей, работающих в такси. Наверняка, у каждого из них есть своя пережитая история с его пассажирами. Забавная и не очень, любопытная и захватывающая, опасная или комичная. Разные страны - разный менталитет. Всё это вместе очень интересно. А порой будет неожиданно узнать о той или иной стране через коренного жителя - пассажира жёлтой машины с шашечками именно о особенностях его народа...

# Содержание

Глава 1	Случай с непринятым "Хунбао"	4
Глава 2	Наперегонки со смертью	9
Глава 3	Возвращение	34
Глава 4	Пхукет наизнанку	49
Глава 5	Земля обетованная без бензина	56
Глава 6	Невозможный выбор	74

# Василий Арбатов

## Таксистские истории

### Глава 1 Случай с непринятым "Хунбао"

#### Случай с не принятым "Хунбао"

Меня зовут Алексей, и я уже год вожу такси для DiDi в Шанхае. Кажется, я привык ко всему: к безумному трафику, иероглифам на витринах и особой, деловой вежливости китайцев. Но один случай врезался в память навсегда, показав, что за внешним спокойствием может скрываться буря.

Был душный вечер, лил проливной дождь. Я получил заказ в престижном бизнес-районе Пудун. Пассажиром был мужчина лет пятидесяти с властным, резким лицом — господин Чжан. Он сел на переднее сиденье, от него пахло дорогим парфюмом и властью. Рядом с ним, на заднем сиденье, устроился его молодой помощник, Ли Лунь — юноша с умными, но потухшими глазами, который постоянно что-то бормотал в телефон и лихорадочно что-то правил в ноутбуке. Всю дорогу господин Чжан не разговаривал со мной, но непрерывно, холодным, ровным голосом, разбирал по ко-

сточкам работу Ли Луня. Он критиковал всё: от оформления презентации до того, как молодой человек держал визитку на недавней встрече. Это был не гнев, а что-то похуже — ледяное, уничижительное спокойствие. Ли Лунь молча кивал, его пальцы нервно барабанили по крышке ноутбука.

Мы приехали в роскошный ресторан. Господин Чжан, не попрощавшись, вышел из машины и ушёл под зонтик швейцара. Ли Лунь суетливо собрал свои вещи и бросился за ним, оставив на заднем сиденье свой кожаный портфель.

Я обнаружил его, когда до конца смены оставался час. Портфель был дорогой, а внутри — паспорт, ключи, а главное — толстая пачка документов с печатями и подписями. Я тут же поехал обратно к ресторану. Мне повезло — из дверей как раз выходил бледный и растерянный Ли Лунь. Увидев меня с его портфелем в руках, он буквально побелел.

«Сесе! Дада де сесе!» («Спасибо! Огромное спасибо!») — выдохнул он, и в его глазах был не столько восторг, сколько животный ужас, сменяющийся облегчением.

Он схватил портфель, расстегнул его, чтобы проверить содержимое, и его руки дрожали. Потом он засунул руку во внутренний карман и вытащил пачку купюр. Он отсчитал несколько крупных банкнот — сумму, эквивалентную моей дневному заработку, — и сунул их мне.

«Цинь ни на чжу!» («Пожалуйста, возьмите!») — в его голосе была мольба. И здесь началась драма. Воспитанный на идее, что за возврат забытой вещи брать деньги некрасиво, я

вежливо улыбнулся и отказался: **«Бу юн кэци. Жэньжэнь цзю нан»** («Не стоит. Помогать людям — это долг каждого»). Лицо Ли Луня исказилось от паники. Он стал настойчивее, буквально заталкивая деньги мне в карман куртки. **«Бу син! Во дэйи ганьсе ни! Ни бисю шоу ся!»** («Нет! Я должен вас отблагодарить! Вы обязаны принять!») В этот момент из дверей ресторана вышел господин Чжан. Он увидел нас, его холодный взгляд скользнул по деньгам в руке его помощника, по моему отстраняющемуся жесту. Он медленно подошёл.

**«Шэньма ши?»** («В чём дело?») — его голос прозвучал, как удар хлыста.

Ли Лунь, запинаясь, начал объяснять. Чем больше он говорил, о том, что забыл портфель, а я его вернул и теперь отказываюсь от вознаграждения, тем мрачнее становилось лицо господина Чжана. Он повернулся ко мне. Его взгляд был тяжёлым, как свинец.

**«Вэй шэньма ни цзюцзюэ?»** («Почему вы отказываетесь?») —

Я попытался объяснить про доброту и бескорыстие. Он слушал, не перебивая, а потом холодно произнёс:

**«Ни дун ма? Ни цзюцзюэ — цзю ши бу цзуньчжун та. Ни занвэй, что та бу чжи дэ благодарности. Ни лин та ши цюй лянмянь»** («Вы понимаете? Ваш отказ — это

неуважение к нему. Вы даёте ему понять, что он недостоин благодарности. Вы заставляете его «потерять лицо»).

Воздух сгустился. Ли Лунь стоял, опустив голову, как приговорённый. Господин Чжан продолжил, обращаясь уже не ко мне, а к своему помощнику, как к провинившемуся школьнику:

**«Та цзюцзюэ твои дэньги. Это плохой знак. Это «бу сян» для нашей сделки. Удача отвернётся.»**

В его словах не было суеверия — была железная уверенность в том, как устроен мир. Баланс был нарушен. Я, сам того не желая, своим «благородным» отказом нанес Ли Луню удар по социальному статусу и поставил под удар его карьеру.

Я посмотрел на Ли Луня. Он не смотрел на меня, его плечи были ссутулены. В этот момент я понял всё. Я взял деньги из его ослабевшей руки.

**«Сесе ни дэ хунбао»** («Спасибо за ваш красный конверт»), — сказал я твёрдо.

Лицо Ли Луня исказилось. Это была не улыбка, а гримаса предельного облегчения. Господин Чжан коротко кивнул, как будто поставил галочку в невидимом отчёте. Баланс был восстановлен. «Лицо» спасено. Удача не отвернулась.

Они ушли. Я стоял под дождём с деньгами в руке, которые обжигали, как угли. Я не чувствовал себя благородным. Я чувствовал себя участником древнего и безжалостного ри-

туала, где твоя «добродота» может сломать человеку жизнь, а вовремя взятые деньги — становятся актом милосердия. В тот вечер я выучил главный урок: в Китае иногда самое драматичное — это не конфликт, а его отсутствие. И самый тяжелый груз — это неврученный красный конверт.

# Глава 2 Наперегонки со смертью

## Пробежка наперегонки со смертью

Алексей Петрович Смирнов, бывший капитан дальнего плавания из Мурманска, а ныне — водитель желтого такси № 7V24 в Нью-Йорке, считал свою машину ковчегом. Не в библейском смысле, хотя порой потоп здешних улиц — огни, рев, человеческое месиво — наводил и на такие мысли. Нет, его «Корона» была ковчегом смыслов, последним оплотом здравого ума в мире, который с каждой поездкой казался ему все более чужим и чуждым.

Он вел свою таксистскую жизнь уже восемь лет. С тех пор как дочь Маша вышла за американского программиста и, родив внучку Софию, сказала: «Пап, переезжай. Скучно тут одной. И Софии русский дед нужен». Он переехал. Овдовевший, со скудной пенсией в рублях, с тоской по холодному морю и ясной, как матросский узел, субординации. Нью-Йорк встретил его оглушительным и постоянным шумом, в котором каждый звук кричал: «Ты здесь лишний!»

Такси стало его способом не сойти с ума. Это была работа, где можно было молчать. Где он, как шкипер, имел над крошечным миром четырех дверей и багажника абсолютную власть. Он знал город лучше многих коренных — не по гламурным проспектам, а по задворкам, промзонам, темным переулкам Бруклина и бесконечным, унылым квар-

талам Квинса. Он видел город насквозь, как рентгенолог — тело, и диагноз его был неутешителен: хроническая спешка, приводящая к смысловой гангрене.

Был уже одиннадцатый час вечера. Дождь, начавшийся как мелкая морось, теперь хлестал по лобовому стеклу с ожесточением бандита, отбивающего долг. Фары машин расплывались в золотых смазанных бликах. Радио, настроенное на русскую волну, тихо бубнило что-то про политику. Петрович ждал заказа у одного из небоскребов Мидтауна, где даже дождевые капли, казалось, падали с чувством собственного превосходства.

На планшете замигал вызов. Адрес: тот же небоскреб. Куда: аэропорт JFK. «Нормально, — подумал Петрович. — На Квинс. Час езды. Сумма приличная».

Он подъехал к подъезду. Швейцар под огромным зонтом открыл дверь пассажиру. Тот почти впрыгнул на заднее сиденье, отряхивая дорогой, но промокший на плечах плащ.

«JFK, terminal four, и, ради всего святого, быстрее! Мой рейс через полтора часа, и, черт возьми, я опоздаю!»

Петрович кивнул, встретившись с пассажиром в зеркале заднего вида. Мужчина лет сорока пяти, с поджатыми, нервными губами, в дорогих очках в тонкой оправе. Лицо было бледным от напряжения, но не от страха, а от ярости на самого себя, на мир, на дождь — на все, что посмело встать на пути его графика.

«Поехали», — сказал Петрович на своем тяжелом, но по-

нятном английском. Машина тронулась.

Пассажир, представившийся как Майкл, сразу же уткнулся в два смартфона одновременно. Одной рукой он диктовал сообщения, другой — листал почту. Голос у него был резким, отрывистым.

«Да, Стивен, я знаю, что встреча перенесена. Нет, я не могу присоединиться по zoom. Мне физически нужно быть в Чикаго к утру... Что? Нет, отчет не готов, Джессика должна была... Господи, кругом одни идиоты!»

Петрович ловко лавировал в потоке, включая дворники на максимум. Мысли его текли параллельно ручьям воды на стекле. «Идиоты. Интересно. На корабле, если штурман — идиот, судно садится на мель. И все сразу понимают, кто идиот. А здесь... здесь все вокруг идиоты, а он один умный. Но куда-то бежит. Интересная логика».

«Слушайте, водитель, — голос Майкла прозвучал прямо над его ухом. — Есть способ быстрее? Эта трасса будет стоять. Я вижу на карте, тут через Бруклин можно срезать?»

«Можно, — медленно ответил Петрович. — Но там не хороший район. И улицы узкие. В такой дождь...»

«Мне плевать на район! — отрезал Майкл. — Мне нужно в аэропорт. Я плачу за скорость, а не за тур по достопримечательностям. Везите через Бруклин. Самый короткий путь».

Петрович пожал плечами. «Ваше желание». Он свернул со скоростной трассы, нырнув в лабиринт менее освещенных улиц. Мир за окном изменился. Исчезли стеклянные стены,

сменившись кирпичными фасадами, граффити, решетками на окнах. Дождь здесь лил с тем же упорством, но свет от фонарей был тусклым, желтым, выхватывая из мрака мусорные баки, бродячих котов и редких, понуро бредущих пешеходов.

Напряжение Майкла, казалось, немного спало, сменившись мрачным удовлетворением от того, что он «действует», «решает проблему». Он отложил один телефон, но второй продолжал сжимать в руке, как грелку.

«Вы не здешний, да?» — спросил он вдруг, не глядя на водителя.

«Россия, — коротко бросил Петрович.\*\*

«О, русский! — в голосе Майкла мелькнул какой-то интерес, но не человеческий, а скорее коллекционный. — Я был в Москве разок. На переговорах. Жесткие ребята. Пьют как... ну, вы знаете. И играют в шахматы. Вы в шахматы играете?»

«Играл», — сказал Петрович, сворачивая на еще более темную улицу. Фары выхватили группу молодых людей под навесом заброшенной бензоколонки. Они замерли, смотря на такси.

«Наш СЕО тоже любит шахматы. Говорит, это как бизнес. Нужно думать на несколько ходов вперед. Я, честно, не люблю. Долго. Время — деньги. Лучше быстрая и решительная action, понимаете? Акшн! Сделал — получил результат. Шахматы — это для тех, кто может себе позволить ждать».

«На корабле, — неожиданно для себя сказал Петрович,

— иногда лучше десять часов ждать, чтобы обойти шторм, чем лезть в его центр, думая, что ты быстрее. Шторм не интересуют твои акшны».

Майкл фыркнул. «Метафорично. Но жизнь — не корабль в океане. Жизнь — это гонка. Если ты не обгоняешь, тебя обгонят. И съедят. Просто выбросят на свалку. Я не могу позволить себе ждать десять часов. Никто не может. Потом будешь ждать вечно».

Он снова взглянул в телефон, и его лицо исказилось новой гримасой ярости. «О, нет! Нет-нет-нет! Рейс задержан на час из-за погоды! Чертова погода! Целый час! Я мог бы еще в офисе поработать, а не болтаться в этой пробке!»

Петрович удивился. «Так вам теперь не спешить. Можно ехать спокойно».

«Спокойно? — Майкл вскинул голову, его глаза в зеркале горели нездоровым блеском. — Вы не понимаете. Этот час — мертвое время. Потерянное время. Его нельзя вложить, его нельзя монетизировать, его нельзя использовать. Это дыра. ЧЕРНАЯ ДЫРА! И я заперт в этой... этой консервной банке!»

Он нервно постучал пальцами по стеклу. Петрович молчал. Его раздражал этот пассажир. Раздражал своим шумом, своей слепотой, своим вечным состоянием войны с миром. Но работа есть работа.

«Знаете что, — Майкла осенило. — Раз уж я здесь, давайте сделаем кое-что полезное. Везите меня по этому адресу в

Бруклине». Он протянул телефон, показывая точку на карте. Это был район, который даже Петрович старался объезжать. Настолько плохой, что бедность там была не просто отсутствием денег, а активной, агрессивной силой.

«Серьезно? Там... не лучшее место. Особенно ночью. В дождь».

«Там живет один мой... контрагент, — сказал Майкл, и в его голосе прозвучала сталь. — Он должен мне денег. Долго должен. Игнорирует письма, звонки. А я, как назло, оказался рядом. Это знак. Я заеду, постучу в дверь, посмотрю ему в глаза. Иногда личный визит — лучший стимул. Быстрый акшн. Детектор лжи не нужен, когда ты стоишь на пороге».

«Это не хорошая идея», — твердо сказал Петрович. В его душе зашевелилось старое, капитанье чутье — предчувствие беды. Так пахнет воздух перед штормом.

«Это не ваша идея, это моя! — отрезал Майкл. — Я плачу. Я заказываю маршрут. Или вы отказываетесь везти? Я могу позвонить в компанию, оставить жалобу...»

Петрович вздохнул. Внутренний голос кричал: «Вышвырни его нахрен к чертовой матери!» Но перед глазами встало лицо внучки Софии, которой он на днях обещал купить новый велосипед. Жалоба, штраф... Он стиснул зубы.

«Хорошо. Но быстро. Зашли-вышли».

«Вот и отлично! Action!» — Майкл потер руки, будто собирался не на неприятную встречу, а на интересное приключение.

Они углублялись в сердце тьмы. Улицы сузились до размеров проулков. Фонари здесь либо не горели, либо мигали, как в дурном триллере. Кирпичные стены домов были покрыты слоями граффити — не искусством, а маркировкой территорий, угрозами и непонятными символами. За решетчатыми окнами тускло светился синий отсвет телевизоров.

Петрович ехал медленно, объезжая выбоины, в которых плескалась мутная вода. Он чувствовал себя так, будто ведет свою желтую субмарину на опасной глубине, где все смотрят на тебя как на добычу или нарушителя.

«Вот этот дом», — сказал Майкл, указывая на трехэтажный обшарпанный особняк, когда-то, может, бывший свидетелем лучших дней. Теперь его крыльцо покосилось, дверь была покрыта царапинами, а на ступеньках сидел, накрывшись целлофаном, бродяга и смотрел на такси пустым взглядом.

Майкл, не колеблясь, открыл дверь.

«Ждите здесь. Я на пять минут».

«Я не могу здесь стоять, — попытался возразить Петрович. — Это частная территория, могут...»

«Пять минут!» — Майкл уже бежал по мокрым ступеням, высоко подпрыгивая через лужи. Он энергично постучал в дверь.

Петрович заглушил двигатель. Дождь барабанил по крыше, усиливая гнетущую тишину вокруг. Он видел, как дверь

приоткрылась, образовав узкую щель. Видел, как Майкл что-то говорил, жестикулировал. Его поза была агрессивной, наступающей — поза коллектора, человека, привыкшего давить. Ответа не было слышно, но через мгновение дверь распахнулась шире, и Майкла впустили внутрь.

«Идиот, — прошептал Петрович по-русски. — Совершеннейший идиот».

Минуты тянулись мучительно долго. Петрович смотрел на счетчик, который тикал, как бомба замедленного действия. Он смотрел на темные окна дома, на бродягу, который теперь уставился прямо на него. Он смотрел на зеркала, в которых ничего не отражалось, кроме тьмы и струй дождя.

Прошло десять минут. Пятнадцать.

Внутри все было тихо. Слишком тихо.

И вдруг — резкий, приглушенный стеной, но отчетливый звук. Что-то между криком и стуком падающей мебели.

Петрович вздрогнул. Все его морское нутро сжалось в один тугой, холодный узел. Это был не звук делового разговора.

Еще крик. Уже явно мужской. Майкла.

Потом — глухой удар. И снова тишина.

Петрович выхватил свой старый, но надежный телефон. Палец уже hovered над цифрой 9, готовый набрать 911. Но он замер.

Что он скажет? «Мой пассажир пошел в дом, и там шум»? Полиция приедет через двадцать минут, если приедет вооб-

ще. А что будет с Майклом за эти двадцать минут?

И тут дверь дома распахнулась. На пороге стоял не Майкл. Стоял огромный мужчина в растянутой майке, с непроницаемым лицом и глазами, в которых читалась не злоба, а холодная, деловая решимость. Он что-то крикнул внутрь, и на крыльцо выскочили еще двое помоложе. Они схватили что-то тяжелое, завернутое в старый ковер, и, спотыкаясь, потащили к заднему двору.

А следом за ними появился... Майкл. Его вели. Один из парней крепко держал его за руку сзади, а другой шел впереди, оглядываясь. Майкла затолкали в старый, ржавый фургон, припаркованный в переулке.

Это был не деловой визит. Это был похищение.

Фургон резко дернулся с места и, не включая фар, рванул вглубь квартала.

Петрович сидел, парализованный. Сердце колотилось как сумасшедшее. Перед ним был выбор, ясный, как морской навет: спастись самому или лезть в пекло.

Он посмотрел на фотографию Софии, прикрепленную к солнцезащитному козырьку. Ее беззубая улыбка. Он подумал о дочери. О тихой квартирке в Бруклине, о чае с вареньем, о своей роли — немощного старика, которого перетащили через океан из жалости.

А потом он подумал о Майкле. О том, какой тот был глупый, шумный, невыносимый. И о том, что сейчас, в этом фургоне, с ним делают что-то невыразимо страшное. И что

никто, абсолютно никто в этом огромном городе, даже не знает, что он пропал.

«Черт бы вас всех побрал», — хрипло выругался Петрович и рванул стартер.

Желтое такси выскочило из-под навеса, как торпеда. Петрович не включал фары. Он вел машину почти вслепую, ориентируясь по смутным силуэтам и отблескам воды, преследуя красные задние огни фургона, мелькавшие в двух кварталах впереди. Дождь был его союзником, скрывая маневры, но и врагом, заливая стекло и стирая границы дороги.

Мозг его работал с четкостью штурманской карты. Он отбросил страх. Осталась только задача. Цель — не упустить. Условия — шторм, ночь, враждебная территория. Он гнал свою «Корону» так, как тридцать лет назад гнал аварийный катер во время учений в Баренцевом море.

Фургон, похоже, не ожидал погони. Он ехал быстро, но не отчаянно, петляя по узким улочкам, явно направляясь к какому-то конкретному месту. Возможно, к докам, к пустырям, к месту, откуда не возвращаются.

Петрович держал дистанцию. Он вспомнил слова Майкла: «Action! Быстрый акшн!» Ирония судьбы была горькой. Теперь от скорости и решительности зависела жизнь самого Майкла. Но эта скорость должна была быть умной. Безрассудство погубит обоих.

Он набрал 911. Соединившись, он говорил коротко, поделовому, заглушая акцент всей силой командирского голо-

са, который не использовал годами.

«Слушайте внимательно. Я водитель такси 7V24. Стал свидетелем похищения. Белый мужчина, Майкл, около 45. Его затащили в старый серый фургон, Ford, номер... — он всмотрелся — номерной пластины нет. Едем сейчас по...» — он выпалил название улицы, которое мелькнуло на углу. — «Двигаемся на восток, в сторону промзоны. У похитителей оружие. Жертва может быть ранена. Повторяю, я следую за ними».

Диспетчер, женщина, пыталась задавать стандартные вопросы, но Петрович перебил ее: «Нет времени. Отправляйте группу. Я буду держать линию открытой». Он положил телефон на панель, включив громкую связь.

Фургон свернул на широкую, но абсолютно пустынную улицу, уставленную заброшенными складами. Здесь не было ни фонарей, ни машин. Только бесконечные ряды глухих ворот и битое стекло под колесами.

И тут фургон резко затормозил. Задние огни вспыхнули красным заревом. Он остановился у одного из складов, огромные ржавые ворота которого уже приоткрывались изнутри.

Петрович мгновенно выключил фары и свернул в темный проем между двумя зданиями, в пятидесяти метрах от цели. Его такси растворилось во тьме.

«Остановились. Склад, похоже, заброшенный. Адрес... не

вижу. Район доков, к югу от улицы...» — он снова назвал улицу.

Из фургона вышли те двое. Они открыли задние двери и вытащили Майкла. Он шел сам, но его походка была неуверенной, голова низко опущена. Третий, крупный мужчина, вышел из кабины и жестом указал на склад. Группа скрылась внутри, ворота с грохотом закрылись.

Петрович выключил двигатель. В салоне воцарилась тишина, нарушаемая лишь шепотом диспетчера из телефона: «...подразделение уже в пути. Оставайтесь на месте. Не приближайтесь. Повторяю, не приближайтесь...»

Он смотрел на массивные ворота. Мысли неслись вихрем. Майкл там. С ним что-то сделают. Возможно, уже делают. Полиция «в пути». Что это значит? Пять минут? Десять? Двадцать? У Майкла нет двадцати минут. Люди, которые так спокойно похищают человека с его же порога, не собираются вести с ним долгие беседы.

Старый инстинкт капитана, ответственного за жизни на борту, столкнулся с голосом разума, кричащим о самоубийстве. Он был не героем. Он был старым таксистом. С большими коленями и тоской по дому.

Но он также был человеком, который видел, как ведут на убой. И не мог просто сидеть и ждать.

«Черт с вами», — прошептал он снова и вылез из машины. Дождь тут же обрушился на него, хлесткий и холодный. Он достал из багажника единственное, что могло сойти за

оружие, — тяжелый разводной ключ, лежавший там с тех пор, как он менял колесо. И, пригнувшись, побежал к стене склада.

Склад был не просто заброшенным. Он был мертвым. Петрович, крадучись вдоль кирпичной стены, нашел разбитое окно на уровне человеческого роста. Залезть внутрь было делом нескольких секунд. Он приземлился в груды мусора в темном боковом помещении.

Запах ударил в нос — плесень, ржавчина, масло и что-то еще... сладковато-металлический, знакомый до жути запах страха. И голоса. Они доносились из главного зала.

Петрович прокрался к щели в разваленной перегородке и заглянул внутрь.

Просторное помещение освещалось двумя переносными прожекторами, питавшимися от грохочущего генератора. В центре, на ржавом полу, на коленях сидел Майкл. Его лицо было бледным как полотно, один глаз заплыл, из разбитой губы текла струйка крови. Тренчкот был порван на плече. Но самое страшное были его глаза. В них не было прежней самоуверенной ярости. Там был животный, неконтролируемый ужас.

Перед ним, сидя на перевернутом ящике, как на троне, восседал тот самый крупный мужчина. Он был спокоен. У него в руках был не пистолет, а большой, тяжелый гаечный ключ, который он медленно перекладывал из ладони в ладуну.

Двое других стояли по бокам, наблюдая.

«...понимаешь, Майк, дело не в деньгах, — говорил сидящий. Голос у него был низким, усталым, без эмоций. — Дело в уважении. Ты пришел в мой дом. Ты кричал на мою жену. Ты тыкал пальцем в мою грудь. Ты думал, что ты там, в своем стеклянном небоскребе, что-то значишь. А здесь, в моем мире, ты — никто. Меньше чем никто. Ты — проблема, которую нужно решить».

«Луис, я... я извиняюсь, — голос Майкла дрожал, срывался на визг. — Это была ошибка! Я заплачу! Вдвое! Втрое! У меня есть деньги!»

«Деньги? — Луис усмехнулся. — Деньги придут. Они уже мои. Сейчас мы говорим об уроках. Ты видишь этот ключ? Мой отец был механиком. Он говорил: каждый болт нужно затягивать с правильным усилием. Недотянешь — разболтается. Перетянешь — сорвешь резьбу. И тогда уже ничего не починишь. Ты сорвал резьбу, Майк. Ты перешел черту. И теперь твоя жизнь — этот сорванный болт. Бесплезный хлам».

Он медленно поднялся. Двое его помощников сделали шаг вперед.

Петрович понял — сейчас начнется самое страшное. Урок будет кровавым и окончательным.

Его рука сжала разводной ключ. Разум подсказывал сотню причин остаться в тени. Но тело уже двигалось. Он не был героем. Он был капитаном. А капитан не бросает своих в

беде, даже если они идиоты.

Он огляделся. Его взгляд упал на старую, ржавую пожарную сигнализацию на стене, с разбитым стеклом. Рядом висели полусгнившие шланги.

И у него родился план. Безумный, отчаянный, как маневр в шторм.

Он отполз назад, в темноту, нашел обломок трубы. Прицелился и швырнул его что есть силы в дальний угол зала, в кучу пустых бочек.

Грохот был оглушительным в тишине склада. Все трое внутри вздрогнули и обернулись на звук.

«Что это?» — бросил один из молодых.

Луис нахмурился. «Проверь».

Один из парней, достав пистолет, нерешительно направился в темноту, откуда донесся звук.

Петрович ждал. Его сердце колотилось так, что, казалось, эхо разносилось по всему складу. Как только парень скрылся за углом, Петрович выскочил из своего укрытия. Не к Майклу. К стене с пожарной сигнализацией.

Он изо всех сил ударил ключом по механизму. Раздался скрежет металла, но тревога не сработала. Не та система.

Луис и второй парень уже обернулись и увидели его.

«Кто ты?!» — рявкнул Луис.

Петрович не отвечал. Он метнулся к ящику с инструментами, валявшемуся неподалеку, схватил оттуда пару тяже-

лых молотков и, размахнувшись, швырнул один в ближайший прожектор.

Стекло и пластик разлетелись с хрустом. Половина зала погрузилась в полумрак.

«Да что это такое?!» — закричал Луис, поднимая свой ключ. Второй парень полез за оружием.

Петрович, как призрак, снова нырнул в темноту. Он знал, что у него нет шансов в прямом столкновении. Его оружие — неожиданность, знание тьмы и отчаянная решимость.

«Маленький старик! Я тебя найду!» — ревел Луис, мечась по залу.

Из темноты, откуда ушел первый парень, донесся звук борьбы и короткий крик. Петрович использовал момент паники. Он подкрался с другой стороны к оставшемуся прожектору, схватил валявшийся на полу металлический прут и со всей силы ударил по ножке светильника. Прожектор рухнул на пол, свет погас, но перед этим осветил на мгновение перекошенное от ярости лицо Луиса, который был уже в двух шагах.

В полной темноте начался хаос.

Петрович слышал тяжелое дыхание Луиса, шаги второго парня, всхлипы Майкла. Он сам прижался к холодной стене, стараясь не дышать.

«Где ты, старик? Я сломаю тебя!» — рычал Луис.

И тут снаружи, сквозь шум дождя и грохот генератора, донесся новый звук. Отдаленный, но такой желанный. Сирена.

Одна, другая, целый хор. Синие вспышки света заплясали на стенах склада сквозь щели в воротах.

Полиция.

Облегчение, хлынувшее на Петровича, было таким сильным, что у него подкосились ноги.

Луис замер. Проклял сквозь зубы. «Всем на выход! Через заднюю дверь! Быстро!»

Шаги заспешили прочь от центра зала. Захлопнулась какая-то дверь. Генератор заглох, и воцарилась тишина, нарушаемая только нарастающим воем сирен и всхлипываниями Майкла.

Петрович медленно выбрался из своего укрытия. В слабом свете фар полицейских машин, уже бивших в ворота, он увидел Майкла, все еще сидящего на коленях, дрожащего как в лихорадке.

Он подошел к нему, опустил на корточки.

«Майкл. Все. Они ушли. Полиция здесь».

Майкл поднял на него взгляд. В мутных от ужаса глазах медленно проступало узнавание.

«Вы... вы остались...»

«Вставайте. Надо идти».

С грохотом отъехали ворота. В проеме, очерченные синими вспышками, стояли полицейские с оружием наготове.

«Руки вверх! Показать руки!»

Петрович медленно поднял руки. Он был мокрый, грязный, с разбитыми костяшками пальцев, сжимавших его ста-

рый разводной ключ. За ним, пошатываясь, поднялся Майкл.

Было уже под утро. Дождь прекратился. В участке, куда их доставили для дачи показаний, пахло кофе и дезинфекцией. Майкла забрала скорая — у него было сотрясение, сломанное ребро и шок, который, по мнению Петровича, был куда серьезнее физических травм.

Сам Петрович отделался царапинами. Он дал подробные показания, описал Луиса и его людей. Оказалось, тот был мелким, но жестоким боссом местной группировки, давно разыскиваемым за ряд преступлений. Долг Майкла был пустяковым, но его визит стал последней каплей.

Когда формальности были окончены, детектив, седовласый и усталый, проводил Петровича к выходу.

«Вы знаете, вам невероятно повезло. Или вы просто сумасшедший. Бросаться на троих вооруженных парней с... этим?» — он кивнул на ключ, который лежал на столе как вещдок.

«Я не бросался, — устало сказал Петрович. — Я создал помеху. И ждал подкрепления».

Детектив усмехнулся. «Тактик. Ладно. Этот Майкл... Он вам должен жизнью. В прямом смысле. Они не собирались его отпускать».

Петрович кивнул. Он уже знал это.

На улице начинался новый день. Воздух был свеж и чист после дождя. Его такси, которое отогнали сюда, стояло у тро-

туара.

И тут к нему подошел Майкл. Его

Майкла выписали из больницы через сутки. Он стоял на ступенях участка, одетый в купленный кем-то из сотрудников дешевый спортивный костюм, который висел на нем мешком. Его лицо, украшенное фиолетово-желтыми пятнами, выглядело чужим, разбитым. В руках он сжимал пластиковый пакет с личными вещами.

Увидев Петровича, он замер, будто столкнулся с призраком. Затем, неуверенно, подошел.

«Борис...» — голос его был хриплым, тихим. Он не знал, как обращаться. «Мистер Смирнов».

Петрович кивнул, открывая дверь такси. «Садитесь. Отвезу куда скажете».

Майкл молча сел на заднее сиденье, но не откинулся на спинку, а сидел прямо, скованно, глядя перед собой. Петрович тронулся с места.

«Отель, наверное, — сказал Майкл. — Тот же, в Мидтауне. Мои вещи там».

Петрович взял курс на Манхэттен. Утренний трафик был плотным, но движущимся. Солнце, пробиваясь между небоскребами, высвечивало чистые, сверкающие улицы. Вчерашний кошмар казался сном.

Минут десять ехали молча. Петрович ждал. Он знал, что этот разговор неизбежен.

«Я... я не знаю, что сказать, — наконец начал Майкл. Его монолог больше не был напором. Это была медленная, мучительная сборка мыслей. — «Спасибо» — это ничего. Это пустое слово. Вы рисковали... всем. За меня. А я...» Он замолчал, сжав кулаки. «Я был идиотом. Вы пытались меня предупредить. Я не слушал. Всегда не слушаю. Бегу. Давлю. Думаю, что всё знаю лучше».

Петрович смотрел на дорогу. «На корабле есть правило: капитан всегда прав. А пассажир — всегда пассажир. Ты не стал слушать капитана — попал в шторм. Мне жаль, что так вышло».

«Мне тоже», — прошептал Майкл. Он смотрел в окно, но видел, вероятно, не улицы, а лицо Луиса с гаечным ключом. «Они... он говорил со мной. Пока ждал вас, полицию. Говорил о моей жизни. О том, что она пустая. Что я строю карточный домик и тушусь, когда кто-то дунул. И он был... черт возьми, он был прав». Майкл закрыл лицо руками, но не заплакал. Казалось, все слезы страха уже вышли. «Вся моя жизнь — это бег. От чего? К чему? Чтобы опоздать на самолет, который все равно задержали? Чтобы выжать из кого-то деньги, которые для меня — просто цифра в приложении? Чтобы доказать... кому? Что я не лузер?»

Он опустил руки. В его глазах было опустошение, но и странная ясность, как у человека, пережившего катарсис.

«Он сказал: «Ты думаешь, твое время — деньги. А на самом деле твое время — это просто время. И оно кончается».

И кончилось бы. Если бы не вы».

«Ваше время не кончилось, — сказал Петрович. — Просто, может, стоит сменить курс».

Они подъехали к отелю. Майкл не спешил выходить.

«Я хочу оплатить вам. Не просто поездку. Все. Ваше время. Риск. Все».

Петрович обернулся и посмотрел ему прямо в глаза. «Мне не нужно ваших денег, Майкл. Уже есть оплата».

«Какая?»

«Я узнал кое-что о себе. Что я еще не совсем... пассажир в своей жизни. Что капитан еще на мостике». Он усмехнулся. «Это дорогого стоит для старика».

Майкл кивнул, понимая. Он достал из пакета блокнот и ручку, что-то быстро написал, оторвал листок и протянул Петровичу. Там был номер телефона и email.

«Это не для оплаты. Это если... если вам или вашей семье когда-нибудь что-то понадобится. Юрист, врач, любая проблема. Я знаю людей. Я в долгу. Навсегда». Он помолчал. «И еще... я отменяю все встречи в Чикаго. Еду домой, к жене и детям. Я не звонил им две недели, кроме как «все хорошо, дела». Думал, дела важнее. Я был слепым идиотом».

«Это хороший курс», — сказал Петрович.

Майкл вышел из такси, но перед тем как закрыть дверь, наклонился. «Борис... эта «пробежка наперегонки со смертью»... Я проиграл бы ее. С треском. Вы меня вытянули из этой гонки. Спасибо».

Он закрыл дверь и медленно пошел к стеклянным дверям отеля, двигаясь не бегом, а твердым, хотя и болезненным шагом.

Петрович смотрел ему вслед, а затем взглянул на листок с номером. Он аккуратно сложил его и положил в бардачок, рядом с фото Софии. Он не стал бы звонить. Но было... спокойно. Зная, что этот мост существует.

Прошло несколько месяцев. Осень в Нью-Йорке выдалась на редкость теплой и золотой. Петрович по-прежнему водил такси, но что-то внутри изменилось. Он больше не чувствовал себя просто наблюдателем в желтом ковчеге. Он был его капитаном. И его пассажиры были не просто source дохода, а частью того моря человеческих судеб, по которому он плавал.

Он стал больше разговаривать. Не многословно, но метко. Как тот день, когда подобрал молодую художницу, плачущую на обочине в Бушвике. Она говорила, что у нее ничего не получается, что Нью-Йорк ее сломал.

«Вы знаете, — сказал Петрович, глядя в зеркало, — шторм в океане не ломает корабль. Он проверяет его на прочность. Если сломался — значит, был гнилым. Значит, не стоило выходить в море. А если выдержал — после шторма он только крепче. И капитан тоже».

Девушка перестала плакать и с интересом посмотрела на него. «Вы философ».

«Бывший моряк», — поправил он.

А еще он стал давать советы по маршрутам не как подчиненный, а как старший. «Через Манхэттен сейчас пробка. Поедем через парк, дольше по расстоянию, но быстрее по времени и приятнее». И люди слушались.

Однажды вечером ему пришло сообщение. Не через диспетчера, а на личный телефон. От Майкла. Текст был коротким: «Привет, Борис. Все хорошо. Сходил с сыном на бейсбол. Ничего не понимаю в этой игре, но он был счастлив. Спасибо еще раз».

Петрович улыбнулся и ответил: «Бейсбол — как жизнь. Ждешь свой pitch, иногда промахиваешься, иногда выбиваешь хоум-ран. Главное — быть на поле. Удачи».

Он не стал писать «удачи в бизнесе». Просто «удачи».

А вечером, когда он приехал на ужин к дочери и внучке, София, которая уже всю болтала на двух языках, встретила его вопросом:

«Дедуля, а ты сегодня кого-нибудь спас?»

Петрович рассмеялся, взял ее на руки. «Нет, рыбка. Сегодня был тихий рейс. Но знаешь, что самое главное в море?»

«Что?»

«Знать, что твой корабль цел. И что дома тебя ждут». Он обнял дочь, которая смотрела на них с теплой улыбкой.

Он больше не чувствовал себя чужим в этом городе. Он был частью его организма, как водитель желтого такси — ча-

стью кровотока Нью-Йорка. Он видел его пороки и язвы, но теперь видел и что-то еще: хрупкую, глупую, отчаянную человечность, которая пробивалась сквозь асфальт, как первый весенний побег. И он, Борис Петрович Смирнов, мог либо задавить ее, либо объехать, либо, если повезет и хватит духа, — защитить.

Он извлек урок. Не только про то, что не стоит лезть в чужие дела с непрошенными советами. А про то, что иногда самое важное дело — это как раз то, в которое ты попал против своей воли. И что спасение другого — это не подвиг, а просто правильное действие в неправильной ситуации. Единственно возможное для того, кто хочет смотреть себе в глаза утром.

И когда он снова выезжал в ночную смену, под дождь, который только начинал накрапывать, он больше не думал о пробежке наперегонки со смертью. Он думал о просто пробежке. По маршруту, который ты выбираешь сам. Где-то медленно, где-то быстро, иногда сворачивая с навигатора, чтобы помочь заблудившемуся, иногда просто везя усталого человека домой.

Его ковчег был мал, но крепок. И он знал, что какой бы шторм ни обрушился на него впереди — он его выдержит. Потому что выдержал уже не один. И потому что у него теперь был не только порт приписки, но и звезды, по которым можно сверять курс. Пусть даже эти звезды были всего лишь огнями безумного, вечно спешащего, но все же живого го-

рода по имени Нью-Йорк.

# Глава 3 Возвращение

## ВОЗВРАЩЕНИЕ

Иван Андреевич, таксист почтенного возраста, с усталостью наблюдал, как осенний дождь заливает лобовое стекло его «Шевроле». Он не любил длинные, дальние дальние заказы, в отличии от других таксистов. Но счётчику было всё равно — мокрый асфальт или сухой, он отсчитывал рубли с одинаковым равнодушием. Когда на планшете высветился адрес гостиницы «Вологда» и пометка «иностранец», Иван лишь тяжело и смиренно вздохнул. Работа есть работа.

Подъехав к стеклянным дверям отеля, он увидел их. Старик — прямой, подтянутый, в бежевом плаще, какие в России носили разве что дипломаты из старых фильмов. И двое молодых — парень и девушка лет двадцати пяти, в дорогих, но практичных куртках. Все трое обладали той опрятной, выглаженной красотой, которая сразу выдавала в них иностранцев. Немцев, подумал Иван.

Пожилой мужчина открыл переднюю дверь и сел рядом с Иваном. Молодые расположились сзади.

— Добрый день, — сказал старик на чистейшем русском языке с присущим только ему акцентом, в котором каждое «р» было отточенным, а гласные — округлыми и полными. — Пожалуйста, в деревню Староселье.

Иван кивнул и тронулся с места. В салоне повисла тиши-

на, но не та напряжённая, которая бывает между случайными попутчиками, а какая-то тяжёлая, намеренная. Дождь барабанил по крыше.

— Вы отлично говорите по-русски, — сказал Иван, просто чтобы нарушить тишину, наполнявшую салон гулом мотора и шумом шин.

Старик, представившийся Петером Шульцем, медленно повернул голову к окну, словно искал в промокших пейзажах что-то знакомое.

— Да, — сказал он после паузы. — Я его выучил. С детства. Как родной.

Его голос был ровным, спокойным, но что-то в нём заставило Ивана насторожиться. Это был голос человека, который долго нёс на своих плечах тяжесть, к которой уже привык, но от этого она не становилась легче.

— В Староселье родственники? — спросил Иван, уже из вежливости, хотя внутренне готовился к стандартному туристическому ответу про поиск корней.

Петер Шульц молчал так долго, что Иван уже решил, что тот не расслышал вопроса. На заднем сиденье молодые люди тихо переговаривались по-немецки, их голоса были похожи на шелест сухих листьев.

— Я ищу дом, — наконец сказал Петер. Слова прозвучали тихо, но чётко, словно он много раз репетировал их про себя. — Конкретный дом. Я в нём родился. А в 1943 году меня оттуда увезли.

Иван на секунду отвёл взгляд от дороги и посмотрел на профиль старика. Прямой нос, чёткие скулы, седые, идеально подстриженные волосы. Типичный немец, каких показывали в чёрно-белых военных хрониках. Иван почувствовал знакомую глухую неприязнь — отголосок дедовских рассказов и школьных уроков истории.

— Извините, — осторожно начал он, — но вы же... вы немец.

— Да, — кивнул Петер, не оборачиваясь. — Я гражданин Германии. Меня зовут Петер Шульц. Но я родился здесь, в Вологодской области. Меня забрали в три года. Программа «Лебенсборн» — вы, наверное, о ней не слышали.

Иван промолчал. Слышал. Мельком, в какой-то передаче.

— Меня и других таких же детей — светловолосых, голубоглазых — отбирали, как щенков на выставке, — продолжал Петер. Его голос оставался ровным, но в нём появилась каменная твёрдость. — Говорили, что спасают «арийскую кровь» от «недочеловеков». Я не помню свою настоящую мать. Только... только ощущение. Тепло на руках. И песню. Какой-то обрывок мелодии, который всю жизнь крутится в голове, но никак не складывается в целое.

Иван сглотнул. В салоне стало душно, несмотря на включенный кондиционер. Он бросил взгляд в зеркало заднего вида. Молодые немцы слушали, не отрываясь, с серьёзными лицами. Девушка — София — смотрела деду в затылок с таким сосредоточенным сочувствием, что Ивану стало не по

себе.

Дорога сузилась и превратилась в разбитое деревенское бездорожье. «Шевроле» подпрыгивал на ухабах. Петер Шульц достал из портфеля листок бумаги — старую пожелтевшую фотокопию. На ней был изображён деревянный дом с резными наличниками, характерными для вологодского зодчества.

— У меня только это, — тихо сказал он, проводя пальцем по изображению.

— Название деревни. И фамилия матери — Иванова. Мария Иванова. Больше ничего.

Староселье встретило их тишиной, нарушаемой лишь карканьем ворон и шумом дождя. Деревня была не мёртвой, но спящей: несколько ухоженных домов с пластиковыми окнами, а между ними — покосившиеся срубы с забитыми досками окнами. Петер вышел из машины, не обращая внимания на дождь. Он стоял, сжимая в руке фотокопию, и его взгляд метался от одного дома к другому. Иван видел, как с каждой секундой из его прямой, гордой фигуры уходит надежда, а плечи опускаются.

— Всё перестроено, — глухо произнёс Петер, обращаясь скорее к себе, чем к другим. — Ничего не осталось. Глупо было надеяться.

Молодые люди переглянулись. Людвиг, внук, положил руку деду на плечо.

— Дедушка, может, спросим у кого-нибудь?

Именно в этот момент скрипнула калитка последнего дома на окраине. Из-за плетня показалась женщина. Нет, не женщина — тень. Худая, сторбленная, закутанная в поношенный платок и ватник, она несла ведро с водой. Её движения были медленными, механическими, как у человека, который уже тысячу раз выполнял тяжёлую работу.

Петер замер, а затем решительно направился к ней. Иван, не сговариваясь, вышел из машины и прислонился к капоту. Моросил дождь, но стало тише.

— Простите, — голос Петера громко прозвучал в тишине. — Извините, что беспокою.

Женщина по имени Анна медленно, с явным усилием поставила ведро. Подняла на незнакомца усталые, потускневшие глаза. В них не было ни любопытства, ни страха — лишь глубокая, неизмеримая усталость.

— Я ищу дом, — Петер протянул ей листок с фотографией. Его рука слегка дрожала. — Этот дом. Может быть, вы знаете, где он?

Анна не спеша надела очки, висевшие на верхней пуговице её ватника. Она взяла бумагу и поднесла к глазам. Минута тянулась мучительно долго. Иван видел, как её взгляд скользнул по изображению, задержался, снова пробежал по нему.

— Наш дом, — наконец хрипло произнесла она. Её голос был похож на скрип ржавой петли. — Только фронтон другой. И наличники... мама говорила, они были резными, уди-

вительной красоты. Их пустили на дрова в сорок первом, в первую военную зиму. Чтобы не замёрзнуть.

Петер Шульц резко вдохнул, словно его ударили в грудь. Он сделал шаг вперед, и в его движениях появилась какая-то детская, незащищенная порывистость.

— Вашу маму... — его собственный голос сорвался и стал тише. — Ее звали Мария? Мария Иванова?

Анна медленно подняла голову. В ее глазах мелькнуло что-то — настороженность? Боль? Она молча кивнула.

— Я... — Петер замялся, словно боясь произнести эти слова вслух, чтобы они не рассыпались и не оказались ложью. — Меня забрали отсюда. Зимой сорок третьего. Мне было три года. Меня звали... мама звала меня Ванюшей.

Анна замерла. Казалось, она даже перестала дышать. Дождь тонкими струйками стекал с её платка. Она не сводила взгляда с лица незнакомца, этого аккуратного, чужого ей старика в дорогом плаще. Иван, наблюдавший за происходящим со стороны, видел, как меняется её взгляд. Из усталой пустоты он превращается в инструмент, сканирующий, анализирующий каждую черту. Взгляд скользнул по высокому лбу Петера, по морщинам на щеках, задержался на глазах — голубых, светлых, странно знакомых на этом суровом северном лице. Затем опустился к подбородку, к форме ушей.

И вдруг её взгляд застыл. Застыл на маленькой, едва заметной тёмной родинке у левой скулы Петера.

Всё вокруг словно замерло. Казалось, даже дождь пере-

стал барабанить по стеклу. Анна медленно, очень медленно подняла руку. Эта натруженная рука с узловатыми суставами дрожала. Она поднесла её к лицу Петера, но не коснулась, словно боялась, что образ рассеется, как мираж.

— Родинка... — выдохнула она, и её голос стал тихим, невероятно молодым, словно из другого времени. — У моего брата... у Вани... была родинка. Вот здесь. На скуле. Мама всегда смеялась и говорила: «Метка, чтобы не потеряться в лесу».

Петер не шевелился. По его морщинистым щекам бесшумно покатались две слезы. Он не всхлипывал и не рыдал — он просто плакал, как плачут дети, молча и отчаянно.

— Я... я не помню, — прошептал он. — Я ничего не помню. Только песню... обрывок...

И тогда Анна заговорила. Сначала тихо, словно пробуя голос на давно забытом языке, потом громче, увереннее. И из её уст полилась старая колыбельная, та самая, которую в этих краях пели детям:

«Ай, баю-баю-баю,

Не ложись на краю.

Придёт серенький волчок,

Ухватит за бочок...»

Петер вздрогнул, как от удара. Его глаза расширились, на-

полнились изумлением, болью, узнаванием. Он покачнулся, едва удержавшись на ногах. Эта песня... этот обрывок мелодии, мучивший его всю жизнь, складывался в слова. В родные, материнские слова.

— Мама... — выдавил он из себя, и это было уже не слово, а стон, вырвавшийся из самой глубины души, где десятилетиями хранилась тоска трёхлетнего ребёнка. — Мама пела... эту песню...

Анна не выдержала. Словно плотина, сдерживавшая годы, десятилетия горя, прорвалась. Она бросилась к нему, неуклюже, по-старушечьи, и схватила его за лицо своими натруженными руками.

— Ванюша! Ванюша, родной мой! — её голос сорвался на рыдания, глухие, надрывные, в которых было семьдесят лет ожидания и безысходной надежды. — Братик мой, братик! Мама ждала! До самого конца ждала, на дорогу смотрела! Ваня!

Она прижала его седую голову к своему плечу, к грубой, пропахшей дымом и хлебом ткани ватника, и стала укачивать, как когда-то, наверное, укачивала его, маленького. Петер обнял её, его сильные прямые плечи затряслись. Он не плакал громко — его тело просто содрогалось в тихой, беззвучной судороге горя и облегчения.

Иван стоял у машины, и по его щекам текли слёзы, которые он даже не пытался смахнуть. Он смотрел на них — на этого чужого немца и эту простую русскую женщину, слив-

шихся в порыве запоздалой, невозможной любви. Он видел залитые слезами лица молодых немцев — Людвиг и Софии, — видел, как они плакали, не зная русского языка, потому что понимали всё без слов.

Эта сцена длилась вечность и в то же время мгновение. Два старых, измученных жизнью человека, нашедшие друг друга через пропасть войны, ненависти, идеологий и лжи. В тишине, нарушаемой лишь их сдавленными рыданиями и шелестом дождя, звучало нечто большее, чем личная трагедия. Звучала вся боль двадцатого века, собранная в одной точке, на пороге деревянного дома в вологодской глуши.

Позже, уже в тёплой, пропахшей травами и старой древесиной избе, за столом с неизменным чаем Иван слушал. Анна, держа брата за руку, рассказывала о матери — как та не верила в его смерть, как выходила на дорогу при каждом звуке мотора, как перед смертью, уже почти ослепшая, шептала: «Вернётся мой Ванюшка. Сердце слышит».

А Петер, Петер-Ваня, рассказывал о другой жизни. О доброй, но холодной немецкой фрау Шульц, о чувстве чужеродности, о поисках, которые начались после того, как в девяностые годы открылись архивы. О том, как он тайком учил русский, как слушал советские пластинки и плакал, сам не понимая почему.

Иван молчал. Он был просто таксистом. Свидетелем. Но в ту ночь на его душу легла ответственность за эту историю.

Утром на вокзале, когда они прощались, Петер крепко

сжал его руку.

— Вы видели, Иван, — сказал он, и в его голубых, теперь таких родных глазах читалась невыразимая благодарность. — Вы видели. Запомните. Рассказывайте. Не из ненависти. Из памяти. Чтобы знали, что такое война на самом деле. Не пушки и танки. А вот это. Разлука на всю жизнь.

Иван кивнул. Он не мог говорить.

Он ехал обратно один, по той же дороге, но мир вокруг изменился. Он не мог отделаться от мысли: а сколько их? Сколько таких Ванек, Петеров, Гансов разбросано по Германии, Австрии, по всему миру, и они даже не подозревают, что их первым словом было «мама» на русском языке? Что их корни вросли в эту сырую, суровую землю, а не в аккуратные европейские газоны? Что где-то в деревне под Смоленском, Псковом, Брянском доживает свой век сестра или брат, глядя на пустынную дорогу...

Дома он долго сидел в темноте, глядя в окно. И в его голове, помимо боли и сострадания, родилось странное, щемящее чувство. Не вины, нет. А невероятной, вселенской грусти за всех потерянных детей войны. За всех, кто так и не нашёл дорогу домой.

С тех пор Иван смотрит на мир другими глазами. Он вглядывается в лица светловолосых, голубоглазых иностранцев, улавливает знакомые акценты в их русской речи. И иногда ему кажется, что он видит в их взглядах ту же тень, тот же вопрос, который был в глазах Петера Шульца до того, как

скрипнула калитка в Староселье.

Война, думает он, никогда не заканчивается. Она лишь меняет форму. И самое страшное её оружие — не снаряды, а украденное детство и разорванные на части семьи, которые ищут друг друга через океаны времени и забвения.

Иван вёл машину по уже знакомой дороге из Староселья в город, но на этот раз ощущения были иными. Теперь эта грунтовая колея, эти покосившиеся избы и хмурые ели были не просто декорацией к его рабочим будням. Они стали частью истории, которую он теперь нёс в себе, как ношу, одновременно тяжёлую и необходимую.

В салоне пахло мокрой шерстью и яблоками — Анна, не спрашивая, взяла с собой в дорогу мешок антоновки и пару вязаных носков для Петера, «чтобы ноги в дороге не простудил». Петер сидел рядом, молчаливый, но его молчание было уже другим — не напряжённым ожиданием, а тихим, почти благоговейным покоем. Он смотрел в окно, но взгляд его был обращён внутрь, к только что обрётённому и ещё такому хрупкому прошлому.

— Она... Анна... — начал Петер, и голос его прозвучал непривычно мягко, — она всю жизнь хранила мамин праздничный сарафан. Красный, с вышивкой. Говорит, мама надевала его только по большим праздникам и всегда шептала: «Для Вани сохраню, когда вернётся». Насекомые почти съели его, ткань истлела, но она не могла его выбросить.

Иван лишь кивнул, боясь словом разрушить хрупкую нить

воспоминаний, которую Пётёр начал распутывать.

— Я не помню лица своей матери, — продолжил Петер.  
— Но вчера, когда Анна достала ту единственную потёртую фотографию... Я увидел свои глаза. Мои — её глаза. Всю жизнь я смотрел в зеркало и видел чужое лицо. А оказалось, что оно всё время было моим. Просто... очень постаревшее от горя.

На заднем сиденье София тихо вытирала слёзы. Людвиг смотрел на дедушку с новым, взрослым пониманием.

— Дедушка, — осторожно спросила София по-немецки, — а что мы скажем бабушке? Фрау Шульц?

Петер обернулся к внукам, и на его лице появилось сложное выражение — благодарности и печали.

— Мы скажем правду, — тихо ответил он. — Что я нашёл свою семью. Что у меня есть сестра. Она была добра ко мне, твоя бабушка, Софи. Она дала мне дом, образование. Но она тоже была жертвой. Ей сказали, что она спасает сироту из разбомблённого города на востоке. Она не виновата. Никто не виноват. Виновата только война.

В городе они попрощались у гостиницы как старые знакомые. Петер снова пожал руку Ивану.

— Она дала мне адрес, — сказал Петер. — И я буду писать. Буду присылать фотографии. Летом... летом мы приедем снова. Всей семьёй. Если, конечно, Иван, ты не откажешься снова нас везти.

— В любое время, Пётр... Ваня Иванович, — поправился

Иван, и на мгновение оба — и таксист, и профессор из Гамбурга — улыбнулись одной грустной улыбкой.

Иван не поехал сразу на стоянку. Он заехал в парк и остановил машину у пустынной набережной реки. Дождь закончился, сквозь рваные облака пробивалось бледное осеннее солнце. Он достал телефон и набрал номер сына, студента-историка из Петербурга.

— Алёш, привет, это папа. Слушай... ты про программу «Лебенсборн» что-нибудь знаешь? Нет, мне просто интересно... — Иван замолчал, подбирая слова. — Просто... встретил я тут историю одну. Настоящую. Может, расскажешь мне, что у вас учёные об этом пишут?

Вечером, за ужином, он рассказал обо всём жене. Подробно, с паузами, с внезапно подступающим к горлу комом. Жена, учительница младших классов, слушала, не перебивая, а потом долго сидела, глядя в запотевшее окно.

— Знаешь, — сказала она наконец, — я вот думаю о тех немецких семьях. Которые брали детей. Не все же были нацистами. Многие просто хотели помочь ребёнку. Они растили его, любили. А потом он вдруг узнавал эту страшную правду. Каково им было? И каково ему было? Кого любить? Кого считать предателем?

Иван не нашёл ответа. Ответов не было. Была лишь чудовищная мозаика из сломанных судеб, где каждый кусочек — отдельная трагедия.

Прошло несколько месяцев. Зима сковала Вологду креп-

ким морозом. Однажды на телефоне Ивана высветился незнакомый номер с немецким кодом.

— Иван, здравствуйте, это Людвиг, внук Петера, — слышался в трубке молодой голос, говоривший с акцентом, но уверенно. — Мы с Софи готовим небольшой семейный архив. Документируем историю деда. Дедушка просил передать вам его огромную благодарность и... спросить разрешения. Можно ли нам использовать ваши воспоминания о той поездке? Ваши впечатления? Для нас это очень важно.

Иван, растерявшись, согласился. А потом добавил:

— Скажи своему деду... Ване Ивановичу... что я ездил в Староселье. Не по заказу. Просто так. Навестил Анну Михайловну. Передал от него гостинцы, которые она в прошлый раз забыла передать. Теперь в её доме не так пусто. Соседский мальчишка, внук её подруги, стал заходить, колоть дрова, приносить воду. Зовёт её тётей Аней. И... и я повесил у неё в сенях новый фонарь. Яркий. Чтобы свет падал на дорогу. Всю дорогу. На всякий случай.

В трубке на другом конце света наступила тишина, а потом Людвиг, голос которого вдруг сорвался, проговорил:

— Спасибо. Я обязательно передам.

Весной Иван получил бандероль из Германии. В ней была книга — исследование о программе «Лебенсборн» на немецком языке, с кучей сухих цифр и фактов. Но на первой странице была вложена рукописная открытка от Петера.

*«Дорогой Иван!*

*Эта книга — попытка учёных осмыслить безумие. Но наша с Аней история — попытка пережить это безумие. Спасибо, что стали её частью. Вы были тем мостом, по которому я смог вернуться домой. Мои внуки теперь учат не просто русский язык. Они учат язык своей настоящей семьи. А я каждый вечер смотрю на карту России и знаю, что там, в маленькой точке под названием Староселье, горит фонарь. И он светит для меня.*

*Ваш Ваня Иванов (он же Пётр Шульц)».*

Иван поставил книгу на полку в гостиной. Рядом с фотоальбомами и сувенирами. Теперь, когда к нему в гости приходили друзья и спрашивали: «О, а что это за немецкая книга?» — у него был готов ответ. Не короткий, а длинный. История, которая началась в дождливый осенний день с вызова такси. История, которая заставила его, простого водителя, увидеть в зеркале заднего вида не просто лица пассажиров, а отражение самой Истории — жестокой, несправедливой, но иногда, вопреки всему, способной на тихое, безмолвное чудо примирения.

И иногда, глубокой ночью, засыпая, он думал не о Петере и Анне. Он думал о других. О тех, чей фонарь на краю деревенской дороги так и не зажгли. И тогда он обещал себе помнить. Просто помнить. Это было так мало и так много одновременно.

## Глава 4 Пхукет наизнанку

У Пхукета две кожи. Днём — солнечная, ленивая, пахнет кокосовым маслом и потом пробежек по пляжу. А к вечеру линяет. К шести часам старая шкура сползает, и наружу вылезает влажная, липкая изнанка. Я это знаю. Я вожу тут такси одиннадцать лет. Тот вечер начинался обычно. «Биг Си» — супермаркет, русская семья с двумя детьми, багажник забит пакетами с «Севен-Илевен». Потом старый австралиец, попросил отвезти в пафосский храм, полчаса рассказывал про реинкарнацию, но на чай оставил двадцать бат. Я уже хотел ехать на стоянку, доедать холодный пад-тай, когда телефон мигнул зелёным: «новый заказ». Итальянское имя. Точка подачи — люкс-отель на Кароне. Конечная — Soi Crocodile. Немного подержал палец над кнопкой «принять». Потом всё-таки нажал. Зачем? Да чёрт его знает. Знал же, что вечером это опасный район. Он вышел из отеля — узкие белые брюки, льняная рубашка, расстёгнутая до середины груди. Загар. Очки в золотой оправе. От него пахло дорогим парфюмом и той особенной европейской беспечностью, которая в Таиланде кончается одинаково. — Вы в Сои Крокодайл заказывали? — спросил я, когда он сел вперёд. — Си! — улыбнулся он, как ребёнок, которому купили мороженое. \ — Это правда крокодилы? Там ферма? — Там не ферма

— ответил я, не глядя в его сторону. — О! А что? Я вырлил на главную дорогу. За окном потянулись огни Патонга — золотые, алые, неоновозелёные. «Банг-Роуд» только начинала просыпаться, но воздух уже вибрировал. — Синьор, а зачем Вам в Сои Крокодайл? — бросив взгляд на пассажира, спросил я. — Интересно! — он развёл руками, словно это объясняло всё. — Я читал в блоге, что это самый опасный переулочек Пхукета. Настоящий, не туристический! Представляешь, там можно увидеть настоящую жизнь! — Там можно увидеть смерть — ответил я ему в тон. Итальянец — его звали Маттео, двадцати восьми лет, архитектор из Милана, приехал на две недели искать «аутентичность» — засмеялся. — О! Ты шутишь, как настоящий русский! Драматично. У вас в крови Достоевский. Я не ответил. Машина нырнула в тень под мостом, и светофоры кончились. — Послушайте, — я включил поворотник, чтобы развернуться. — Сои Крокодайл — это не улица. Это три узких прохода между бараками. Там нет фонарей. Там есть люди, которые не любят, когда их снимают на телефон. Им кажется, что это неуважение. Или полиция. Или конкуренты. Разницы никакой, потому что нож не спрашивает.

Маттео перестал улыбаться. Но не потому, что испугался. Он смотрел на меня с интересом зрителя в театре. — Ты меня пугаешь? — сказал он почти ласково. — Это часть сервиса? — Это предупреждение — резко отрезал я. — Амико, — он вдруг положил руку мне на плечо. Тёплую, уверенную.

— Я вырос в Неаполе. Ты знаешь Неаполь? Там бабушки носят золото на улице, и никто не трогает. Потому что свои знают своих. Я хочу посмотреть. Просто посмотреть. Я же не идиот, лезть в драку. Я посмотрел на его белую рубашку, на его часы «Филипп-Патек», на его лицо человека, который никогда не бил первым и не бежал последним. — Ради Бога, выходите, — сказал я. — Только я вас не высажу у входа. Пройдём до угла вместе, посмотрите издалека и сразу назад. — Да? Ладно, договорились! — ответил пассажир, явно недопонимая опасности. Сои Крокодайл не любит гостей. Никогда не любит. Здесь нет вывесок. Нет тук-туков, ждущих клиента. Только узкая полоса асфальта, мопеды у стен, синеватый свет из дверей. В каждой двери — силуэт. Или два. Я припарковался за пятьдесят метров. Достал сигарету, хотя не курю второй год. Просто сунул сигарету в рот. — Вон там, — я кивнул. — Видите проход? Слева — массажный салон, но вы туда не ходите. Справа — бар, там принимают ставки. А прямо... — Мадонна, — выдохнул Маттео. Он уже открыл дверь. — Стойте — мой голос сорвался на крик — Я быстро! Только фото! — Здесь нельзя фото. — Всего одну! — он подмигнул. — Я осторожно. И вышел. Я выругался по-русски. Завёл двигатель. Затем выключил. Вцепился в руль и стал наблюдать. Маттео прошёл метров десять. Остановился. Поднял телефон — тот самый новенький смартфон в белом чехле, который он вертел в машине. Чехол светился в темноте, как маяк. Из двери барака вышел

человек. Невысокий, жилистый, в бейсболке. Сказал что-то. Маттео улыбнулся, мотнул головой — мол, не понимаю, турист, всё хорошо. Человек в бейсболке шагнул ближе. Я вышел из машины. Маттео сделал шаг назад. Человек в бейсболке говорил теперь громче. Из другой двери вышли ещё двое. Маттео оглянулся. Улыбка сползла. Он искал меня глазами. — Иди сюда, — позвал я негромко. — Медленно. Не беги. Он не слышал. Или не понимал по-русски. Но он видел моё лицо. Я шагнул в проход. Руки держал на виду.

— Маттео, — позвал я по-английски. — Идём к машине. Человек в бейсболке перевёл взгляд на меня. Оценил. Я оценил в ответ: татуировки на пальцах, шрам над бровью, пустой взгляд человека, который не боится испачкаться. — Такси, — сказал я по-тайски. — Забрать клиента. Уезжаем. — Он фотографировал. — Он удалит. Правда, Маттео? Маттео кивнул, не дыша. — Нет, — сказал человек в бейсболке. — Пусть зайдёт, поговорит с хозяином. Хозяин не любит папарацци. — Он не папарацци. Он дурак. Я взял Маттео за локоть. Крепко. Он дёрнулся, но я не отпустил. — Мы уходим. — Ты глухой? — второй, в чёрной майке, шагнул вперёд. — Сказано — зайдёт. И тут Маттео, поняв, что дело заходит в опасное русло — заговорил: — Послушайте! — голос у него дрожал, но он старался держаться. — Я заплачу! Я не хотел проблем! Я просто... я архитектор, понимаете? Мне интересна городская среда! Этот переулок уникальный, такая плотность застройки, такие пропорции! Я могу запла-

тить за фотосессию! Он говорил, а я смотрел на лица этих троих. Они не понимали ни слова. Но слово «заплачу» поняли все. — Хорошо, — сказал первый. — Пять тысяч бат. Маттео полез в карман. Я перехватил его руку. — Нет, — сказал я. — Ноль бат. Мы уходим. — Фаранг (так тайцы называют всех русских), — первый усмехнулся. — Ты русский, я уважаю русских. Но это наш район. Тут другие правила. Я посмотрел ему в глаза. — Я тоже знаю ваши правила потому, что уже одиннадцать лет здесь, — сказал я тихо. — И вы знаете наши правила. И вы хорошо знаете, что у таксистов есть радио. И если я сейчас не выйду на связь, через пять минут сюда приедет десять машин. Не туристов возить, а мясо резать. Мы же русские и своих не бросаем. Вам это надо? Пауза. А я стоял и не понимал сам себя. И зачем я это всё говорю и делаю? Человек в бейсболке смотрел на меня. Я смотрел на него. Маттео не дышал. — Увози своего туриста, — сказал наконец первый. — И скажи ему, что я его запомнил. Я кивнул. Развернул Маттео и толкнул к машине. Он молчал всю дорогу до отеля. Сидел, сцепив пальцы, глядя в одну точку. У входа я остановился. — Выходите, — сказал я. — С вас двести семьдесят бат.

Он достал купюру. Тысяча бат. — Сдачи не надо, — голос сел. — Надо, — я отсчитал мелочь. — Вы не заплатили за экскурсию. Я не экскурсовод. Он взял деньги. Посмотрел на них, потом на меня. — Я думал... — начал он и замолчал. — Что вы думали? Что это игра? Как в кино? Страшно,

но понарошку? Что если улыбнуться, всё будет хорошо? Я смотрел на его белую рубашку. На воротнике и плече осталось тёмное пятно — от стен Сои Крокодайл. — В Неаполе, — продолжил я, — бабушки носят золото, и свои знают своих. А здесь свои — только в этом переулке. Вы там чужой. И я там, тоже чужой. Разница в том, что я об этом знаю. Маттео кивнул, не поднимая голову. До него начало медленно доходить из какой беды его просто выдернул этот русский таксист.. — Синьор... — он запнулся. — Как вас зовут? — Сергей — буркнул я. — Серджо, — выдохнул он. — Я никогда... никогда не забуду этот вечер. — Это плохо, — сказал я. — Лучше забыть и не вспоминать, потому что этот вечер мог стать для вас последним в жизни. Я нажал на газ. В зеркале заднего вида, он стоял у входа в отель, маленький, в своих белых брюках, и смотрел вслед моей машине. Да... у каждого континента — своя тьма. В Европе она старая, каменная, с мраморными плитами и латинскими эпитафиями. А здесь — живая, потная, пахнет пальмовым маслом и дешёвым виски. И если сунуть в неё голову, она не откусит. Эта тьма просто оставит тебя там. Он хотел аутентичности. Получил. И слава Богу легко отделался, потому что попал на русского таксиста. Теперь этот итальянец без слов поймёт, что настоящий Пхукет не в трущобах и не в пятизвёздочных отелях. Настоящий Пхукет — водитель, который не уехал. Потому что знает: если не вернёшь пассажира, с Крокодайла, то сам он может уже никогда и никуда не

вернуться, а исчезнуть бесследно. Как исчезают многие беспечные туристы, не понимая, насколько опасно находиться в ночном Пхукете, особенно в бедных кварталах подобных Крокодайлу. Я включил радио. Диспетчер монотонно называл адреса. — Двадцать шестой, есть заказ на Ката. — Принял. Я выехал на освещённую дорогу. Впереди мигали огни курортного рая. В нём не было места ни крокодилам, ни людям в бейсболках, ни дуракам, которые ищут приключений. Впереди сиял курорт и ... рай. Но рай тоже имеет две кожи. Просто её не видно при солнечном свете.

# Глава 5 Земля обетованная без бензина

## «Земля обетованная без бензина»

*Рассказ о русском водителе такси, армянском заказе, грозе, абрикосах и том, как один звонок разделил жизнь на «до» и «после».*

Меня зовут Алексей. Раньше я водил фуры через всю Россию, от Владивостока до Калининграда. Потом экономика сказала: «Прощай, дальнобой — здравствуй, такси». Но в Москве с этим стало тесно: пять комиссий, десять агрегаторов, два штрафа в день. Поэтому я уехал. Куда? В Армению. Не за деньгами — за воздухом. За тишиной. За тем чувством, когда ты вечером ставишь машину во дворе, выходишь на балкон, а там — Арарат. Маленький, закопчённый, как старая свеча, но настоящий. Я купил подержанный «Мерседес» — тут его называют «пятисотый», хотя там двигатель только на три литра. Ржавый, но голосистый. Салон пропах бензином и жареными семечками. Магнит с рекламой я прилепил на скотч: «Такси. 100 драмов/км». Местные смеялись: «Алексей-джан, ты зачем так дешево?» А я пожимал плечами. Мне не нужны были миллионы. Мне нужно

было чувствовать землю под колёсами — настоящую, а не ту, что в граните и асфальте московских пробок. В тот день, когда случилась эта история, с утра лило как из ведра. Армянский апрель — это вам не московский: два часа солнце, пять минут град, потом снова солнце и такое чувство, что кто-то на небе перепутал краны с теплом и холодом. Я сидел у «Золотого кролика» — торгового центра на проспекте Маштоца. В машине пахло кофе из термоса и свежим лавашем (жена хозяйки кафе под окном сунула мне кусок, когда я сдавал назад, сказав: «Один хлеб, наверное, кушаешь, какой красивый и такой худой. На, свеженький лаваш»). Армянки вообще любят кормить. Это часть менталитета: если ты мужчина и ты не сыт — они в трауре. В два часа дня телефон завершал. Заказ: район Арабкир, дом 7/3. Имя: Карен. Рейтинг: 4.9. Отлично. Поехали. Арабкир — спальный район, построенный ещё при Советах. Дома цвета слоновой кости с трещинами, как морщины на лице старухи, которая много смеялась. Я подъехал к подъезду. Ждал пять минут. Потом десять. В такси такое очень раздражает, но здесь, в Ереване, я уже привык к такому. Армянская минута — это двадцать пять реальных, потому что пока ты идёшь, надо: обнять соседа, сказать «ах, какой ты стал большой», спросить про здоровье мамы, понюхать цветы у подъезда, выпить стакан тана с дороги, потом вспомнить, что забыл очки, вернуться. Здесь ритм совсем другой. Наконец дверь подъезда открылась, и на свет вышел мой пассажир. Высокий. Лет со-

рока. Седые виски, но чёрные, как смоль, волосы. Пиджак с иголки, туфли начищены до зеркального блеска. Я подумал: бизнесмен, банкир, может, из администрации. Но глаза... Глаза у Карена были мёртвые. Понимаете, есть у живых людей внутри огонёк — даже у уставших, даже у больных. У него — нет. Два серых стеклянных шарика. Он сунулся в заднюю дверь, не сказал «барев», не кивнул. Просто уронил своё тело на заднее сиденье.

— Добрый день, куда едем? — спросил я, стараясь держать голос обычным.

— В Эчмиадзин. К монастырю, — голос — как пепел. Без эмоций.

— Я понял. Вам не будет дуть с открытого окна? Или закрыть? — я вопросительно глянул на пассажира в зеркало заднего вида. Он ничего не ответил, и я тронулся с места.

Дорога в Эчмиадзин — это сорок минут по трассе М-5. Мимо аэропорта «Звартноц», мимо старых ангаров, мимо полей, где пасутся коровы и бегают дети, которые машут таксистам, потому что таксисты иногда дают конфеты. Обычный маршрут. Но уже через пять минут я понял: что-то не так.

Карен на заднем сиденье начал шептать.

Не громко, не истерично. Тихо. Монолог. Как будто стенограмма сеанса у психотерапевта, которую я слышу случайно. Он говорил на армянском, но я уже год жил здесь и понимал процентов семьдесят. В отличие от многих русских,

я специально учил язык — не для работы, а для уважения. Тут так: ты можешь не знать языка, тебе простят. Но если выучишь пару фраз — откроется небо. Армяне свято чтут любые усилия.

Карен шептал.

«...мама не спала три дня. Три дня, понимаешь, Ара? Она сидела у окна и ждала. Ждала, когда я приду с фабрики. А я не пришёл. Я был в другом месте. В другом месте, Ара... В подвале... Там было темно. И пахло плесенью. Я обещал ей, что куплю дом в Аштараке. Дом с садом. Она хотела абрикосов. Абрикосов из своего сада. Говорила: “Карен-джан, посажу дерево, ты приведешь внуков, будем трясти ветки”... А где теперь внуки? Где, Ара?»

Он плакал. Беззвучно. Слезы текли по щекам, но лицо не двигалось. Я держал зеркало заднего вида чуть сдвинутым, чтобы видеть, но не встречаться взглядом. Профессиональное правило: если пассажир на нервах или эмоциях — не мешать. А быть тихим фоном, быть рулём и дорогой.

Я прибавил громкость радио. Там играл Раффи Ованнисян — старый армянский шансон про любовь и войну. Карен будто не слышал. Он продолжал:

«Тысячу долларов я должен был. Всего тысячу. Дядя Ашот дал на операцию. Не для меня — для Армена, брата. Армен в Донецке подорвался на mine. Армен — гвардеец. Вернулся без ноги. Осколки в печени. Врач сказал: “Срочно, завтра, или умрёт”. А у меня... у меня не было. Я пошёл к

Самвелу. Сказал: “Займи в рассрочку, я отдам через месяц, у меня работа есть, такси, я горы сверну”. Самвел рассмеялся. Ты знаешь этот смех, Ара? Когда богатый человек смотрит на бедного и ржёт, потому что знает: бедный врёт сам себе, что вернёт долг. Я не вернул. Я не смог. Проценты пошли... Пять, потом десять тысяч. А брат Армен всё равно умер. Через три недели после операции. Сепсис. Вот так, Ара... И теперь я, получается, должен за смерть своего брата. Самвелу. Который сидит в “Ташире” пьёт коньяк и считает мои дни».

Я занервничал. Я понял. Это не просто пассажир. Это должник, которого прижали криминальные проценты. В Армении слово «кредитор» иногда звучит как «палач». Особенно если у тебя бизнес на рынке или ты владеешь сетью ломбардов. Самвел — имя, за которым стоит бетон, стекло и девять миллиметров свинца.

Карен замолчал. Посмотрел в окно. Мимо пробежало поле, засеянное пшеницей, изумрудное в апреле, свежее, как зелень на лаваше.

— Останови здесь, — сказал он.

— Мы же не доехали. До Эчмиадзина ещё километров пятнадцать.

— Останови, я сказал.

Я съехал на обочину. Гравий захрустел под колёсами. Вокруг — ни души. Одинокие тополя, ветер, и где-то далеко церковь Святой Рипсиме, похожая на каменную ладонь, сложенную для молитвы.

— Курить будешь? — спросил Карен. Впервые обратился ко мне напрямую.

— Я не курю. Но в бардачке есть «Собрание» — если хочешь, угощаю.

Я достал и протянул открытую пачку Карен взял. Пальцы дрожали. Он закурил, жадно, как будто последний раз.

— Ты русский? — спросил Карен.

— Русский.

— Зачем ты в Армению приехал?

— Дышать.

— Смешной, — он выпустил дым в потолок. — Все едут в Россию дышать от нас. А ты к нам. Ты дурак?

— Дурак, — согласился я. — Но счастливый дурак.

Он посмотрел на меня — впервые живым взглядом. Будто я задел что-то внутри. Потом Карен резко затушил сигарету о подлокотник (больно было смотреть на кожу салона. Я обалдел от неожиданности, но смолчал) и он сказал:

— Знаешь, зачем я еду в Эчмиадзин?

— Догадываюсь.

— Нет. Не догадываешься. Я еду к Католикосу. Просить прощения. Не у Бога. У людей. Потому что сегодня в шесть вечера Самвел забирает всё. Дом в Аштараке, который я купил для мамы, ещё не достроенный. И меня, возможно, тоже. Я иду прощаться с землёй, где меня крестили.

Внутри меня всё напряглось. Потому, что я знал, что такое армянская земля для армянина. Это не недвижимость.

Это — союз. Это договор поколений. Ты не владеешь ею — ты её хранишь. Потерять дом в Аштараке — всё равно что вырвать страницу из книги, где записано имя твоего прадеда, воевавшего с турками. Такую страницу не вклеить обратно.

— Карен, — сказал я, нарушая все возможные таксистские протоколы, — а может, не надо в Эчмиадзин? Может, в полицию? Или в офис, прямо к Самвелу — поговорить?

Он засмеялся. Страшный смех. Как треск сухой ветки.

— В полицию? В Армении? Ты русский, прости, но ты многого не понимаешь. Самвел — друг начальника полиции. Он спонсирует футбольный клуб «Арарат». Его брат — судья. Мне поможет только чудо. Или пуля. Чудес не бывает. А пуля — бывает. У меня с собой «ТТ». Отцовский. Хочу поцеловать землю у входа в монастырь и сделать выстрел — чтобы последнее, что услышат эти стены, был армянский выстрел, а не турецкий.

И только сейчас я понял, что пиджак, который топорщится под мышкой это не сдвинутая от сидения ткань, а торчащая рукоятка от пистолета в нагрудной кобуре

Я осторожно, не делая резких движений, спросил:

— А мама? Что она?

И тут Карен будто надломался. Как старый сухогруз, который шёл на волнах, а тут — бац — разошёлся по швам. Он заревел в голос, уткнувшись в спинку переднего сиденья. Рыдания сотрясали машину. Я молчал. Я не знал, что делать. Я, водитель такси, русский мужик, который видел разное —

и пьяных в лужах, и плачущих невест, и бандитов с битами. Но такое... Такое я видел только в кино.

Я протянул руку назад и положил ладонь на его плечо. Как это делают армяне. Не похлопывание. Просто — тяжёлую, тёплую ладонь. И сказал:

— Карен-джан. Я отвезу тебя в Эчмиадзин. Посмотришь на землю. Потом отвезу домой — к маме. А потом мы вместе подумаем, что делать с Самвелом. Хорошо?

Он поднял на меня красные глаза.

— Ты не понимаешь, русский. Он убьёт тебя тоже. Просто за то, что ты рядом.

— Убьёт — значит, судьба, — сказал я. — Давай лучше доедем спокойно. Вон там справа — рынок. Купим маме цветов. Женщина ждёт. Негоже возвращаться без цветов, даже если мир рушится.

Карен ошарашенно моргнул. Потом, словно выйдя из ступора - медленно кивнул.

Мы заехали на рынок у поворота на Вагаршапат. Карен выбрал букет — огромный, как веник, из алых роз и белых хризантем. Я хотел заплатить, но он оттолкнул мою руку: «Нет. Сам. В последний раз сам». Он отдал продавцу всё, что было в кармане — смятые тысячные купюры, мелочь, какую-то монету с Араратом. Продавец, старик с усами, как у героя фильма «Мимино», внимательно посмотрел на Карена, потом на меня, потом перекрестился невидимо. Ничего не сказал. Армянские продавцы многое видят и молчат.

Это тоже есть в крови армян: если видишь чужую беду, не лезь с расспросами, помоги делом. Старик добавил к букету ветку сирени — бесплатно. «Пусть маме будет приятно», — сказал продавец тихо.

Мы поехали дальше. Дорога пошла ровнее. Карен притих. Смотрел в окно, как ребёнок, который едет на море в первый раз. Я включил тихую музыку — джаз, армянский джаз, с дудуком и фортепиано. Это была пьеса Арно Бабаджаняна. Он положил голову на стекло и закрыл глаза.

За десять минут до Эчмиадзина небо потемнело. С запада налетели тучи — чёрные, с лиловым отливом, как синяки на старом теле. Я включил фары. Ветер усиливался, срывал с деревьев прошлогодние листья и бросал их на капот. «Гроза будет», — подумал я. Но я ошибся. Это был сильнейший град. Не тот мелкий, что бывает весной — «горох». Нет. Камни размером с перепелиное яйцо, а некоторые — с мячик для гольфа. Они забарабанили по крыше, словно дьявол стучал костяшками пальцев. Карен вздрогнул, открыл глаза.

— Господь не хочет меня пускать, — прошептал он.

— Господь проверяет, насколько сильно ты хочешь войти, — сказал я, но сам испугался. Машина зазвенела, как консервная банка под копытами лошади. Остановиться нельзя — разобьют стекла. Ехать быстрее — скользко, град катится под колёса, как шарики.

Я снизил скорость до сорока километров в час. Включил аварийку. Встречных почти не было — все попрятались. И

тут я увидел человека.

Женщина. Лет пятидесяти. В чёрном платке, в пальто, несмотря на апрель. Она стояла у обочины, накрыв голову сумкой, и держала за руку девочку лет семи. Девочка плакала. Женщина — нет. У армянских женщин вообще слёз нет в такие минуты — только сжатые губы и взгляд, которым можно остановить поезд.

Я резко затормозил. Схватил из багажника зонт (беспольный при таком граде, но хоть что-то), выскочил под обстрел. Град молотил по макушке, по плечам. Я почти бегом подскочил к женщине, заорал, перекрывая шум: «В машину! Быстро!»

Она посмотрела на меня без страха. Только спросила: «Ты таксист?». Я кивнул. Она взяла девочку на руки, и мы побежали. Добежали. Я открыл заднюю дверь. Там сидел Карен. Женщина и ребёнок на секунду замерли — чужой мужчина, заплаканный, в пиджаке, странный. Картина ещё та. Но град не спрашивает. Они, чуть замешкавшись, быстро юркнули внутрь.

Я за руль и почти мгновенно тронулся с места. Стекла были целы — повезло.

В салоне воцарилась тишина, если не считать барабанной дробы по металлу. Потом женщина заговорила. Голос низкий, грудной.

— Спасибо. Как тебя зовут?

— Алексей. А вы?

— Сирануш. А это внучка, Ануш. Мы из Гюмри. Ехали в Эчмиадзин к брату, да автобус сломался, водитель сказал через час починит, а этот... — она махнула рукой на небо, — этот... Хайр Аствац, прости меня... этот каменный дождь. Думала, убьёт девочку. Спасибо, что остановились.

Карен молчал. Он смотрел на Ануш. Девочка, вся в слезах, с мокрыми косичками, прижималась к бабушке. Потом Ануш заметила букет на полу — розы и хризантемы, немного помятые градом, но всё ещё красивые.

— Ой, какие цветы. Кому? — спросила она без стеснения — армянское «без стеснения» означает любовь, а не наглость.

— Маме, — выдавил Карен.

— Мама жива? — глаза Сирануш стали чуть добрее и мягче.

— Жива.

— Слава Богу, — она перекрестилась. — Ты молодой, красивый, везёшь маме цветы, джан. Значит, всё у тебя будет хорошо. Дай Бог тебе здоровья.

Карен всхлипнул. Совсем по-детски. Ануш, не зная его истории, протянула руку и погладила его по голове, как маленького. И он не отстранился.

Я увидел это в зеркало. И понял: вот они - армяне. Не в величии храмов, не в древних рукописях, не в том, что они первые приняли христианство. А в этом жесте: незнакомая женщина в чёрном платке гладит по голове чужого мужчину,

потому что он везёт цветы маме. Потому что она чувствует его боль за версту. Потому что у армян сердце — это дополнительный орган чувств, пятый, как у кошек — усы.

Град кончился так же внезапно, как начался. Выглянуло солнце. Арарат показался из-за туч — белый, как сахарная голова, огромный, невозможный. Сирануш сказала: «Ах, смотри, дедка Арарат улыбнулся». Ануш засмеялась. Вскоре мы въехали в Эчмиадзин.

Эчмиадзин — это не просто монастырь. Это Ватикан Армянской Апостольской церкви. Здесь престол Католикоса всех армян. Здесь земля, по которой ходил Григорий Просветитель, и дерево, из которого, говорят, был сделан Ноев ковчег (частица хранится в музее). Сюда приезжают не просто помолиться. Сюда приезжают решать судьбу.

Я припарковался у южных ворот. На небе — ни облака. Лужи блестят на камнях, в них отражается голубое небо и кресты. Карен вышел из машины, взял букет. Потом обернулся к Сирануш и сказал:

— Бабушка, вы посидите в машине, хорошо? Мне нужно отойти ненадолго. Алексей-джан присмотрит.

— Мы с Ануш тоже в монастырь, — сказала Сирануш. — Надо свечку поставить за зятя, он воюет.

— Подождите пятнадцать минут, — попросил Карен. Голос его стал спокойным, даже каким-то отстранённым. Я понял: он прощается.

Я кивнул Сирануш. Она поняла без слов. Армянские ба-

бушки — лучшие в мире психологи. Она осталась в машине, стала что-то рассказывать внучке про птиц, отвлекая.

Я пошёл за Кареном. Не потому, что боялся, что он сделает выстрел (хотя и поэтому тоже). А потому, что не мог оставить человека одного с его бездной. Это русская черта, знаете? Мы, русские, лезем в чужую душу, как в чужой монастырь, со своим уставом. Но иногда это нужно.

Мы прошли через арку. Двор огромный, выложенный плитами, отполированными миллионами ног. Главный собор — Святой Эчмиадзин — стоял в центре, серо-розовый, могучий, как бык, который лежит и дышит. Резьба по камню. Хачкары. Тишина, которая давит на уши.

Карен подошёл к входу. Остановился. Вынул из-за пазухи отцовский «ГТ» — тяжёлый, чёрный, пахнувший маслом и смертью. Я замер. Шум крови в ушах. Он поднял пистолет... Я собрался броситься на него и отвести его руку с пистолетом в сторону, но... Карен положил пистолет на порог, прямо на каменный пол. Рядом с букетом. И упал на колени. Стукнулся лбом в камень. Я услышал, как глухо ударились его голова о пол — или мне показалось. Он зашептал молитву на древнем грабаре — армянском церковном языке, который почти никто не понимает, кроме Бога. Но Бог, говорят, понимает.

Я стоял в двух метрах, не зная, что делать. Потом подошёл старый монах — в чёрной рясе, с бородой, седой, как аракатский снег. Он посмотрел на пистолет, на Карена, на меня.

Взял пистолет двумя пальцами, как дохлую крысу, и передал какому-то послушнику. Тот куда-то унёс оружие. Монах по-дошёл к Карену, наклонился, что-то прошептал на ухо. Карен поднял лицо. По щекам текли слёзы и кровь с разбитого лба.

— Вставай, сынок, — сказал монах по-русски с сильным акцентом. — Нельзя лбом Бога пробить. Бог в тебе уже есть. Вставай и живи.

Карен встал. Шатаясь. Я подбежал и подхватил его под локоть.

И тут зазвонил мой телефон. Номер незнакомый. Я ответил — привычка водителя: любой звонок может быть заказом.

— Алексей? — грубый, прокуренный голос. — Это ты таксист, который везёт Карена?

— Да, — сказал я, чувствуя, как холодеет в животе.

— Передай ему привет от Самвела. Скажи ему, что я прощаю ему весь его долг. И ещё ему скажи, что сегодня утром сестра Самвела, моя сестра, моя единственная радость, умерла от рака. И я подумал: а что, если бы кто-то дал моей сестре второй шанс? Никто не дал. Потому, что нет такого человека. А у Карена есть мать. И я решил, что не надо делать из матери — сироту. Так решил я, Самвел. Передай, что я даю ему второй шанс. Пусть живёт. А цветы пусть везёт не в монастырь, а домой – после чего в трубке щёлкнуло и абонент отключился.

Я опустил телефон. Посмотрел на Карена. В его стеклянных глазах стеклянных читался страд и смирение.

— Самвел простил тебе долг, — сказал я. — Его сестра умерла сегодня утром.

Карен замер на целую минуту. Смотрел на меня и словно не понимал смысла моих слов. Потом очень медленно перекрестился. И прошептал:

— Цицернак...

По-армянски это значит «бабочка» или «маленький крест». Но ещё — так называют поминовение. Он помянул женщину, которую никогда не знал. Которая спасла его ценой своей смерти — косвенно, через боль брата. Мы стояли у входа в главный христианский храм Армении, вокруг блестяли лужи после града, в кустах пели птицы, и где-то в небе над Араратом таяло облако, похожее на раскрытую ладонь. Домой мы ехали молча. Карен на переднем сиденье — я посадил его рядом. Сирануш с внучкой сзади. Ануш уснула на коленях у бабушки, утомлённая градом и приключением. За окном проплывали поля, деревни, старые кладбища с хачкарами. На одном из поворотов Карен сказал:

— Останови.

— Зачем?

— Там, — он показал на старого деда, который сидел у дороги под тутовником и продавал абрикосы. Ранние. Пластиковые вёдра, жёлтые, пахучие. Цена бешеная — тысяча драм за кило, половина моей дневной выручки.

— Возьмёшь? — спросил я.

— Возьму. Все. Сколько есть.

Мы вышли. Дед заулыбался беззубым ртом: «Ах, джана, какие хорошие покупатели! Детям? Девушкам? Жёнам?» Карен достал бумажник — там ничего не было, кроме старой фотографии мамы и водительских прав. Я молча сунул деду две десятитысячные купюры. Дед крикнул, отсыпал две трети ведра, потом добавил ещё — «пусть будет счастье».

В машине запахло летом. Абрикосы в апреле — это чудо. Парниковые, но всё равно. Ануш проснулась от запаха, захлопала в ладоши. Карен взял из ведра горсть и угостил малышку.

Потом мы поехали в Арабкир, к его маме. Дверь открыла маленькая, худенькая женщина в домашнем платье. Увидела сына — с разбитым лбом, в мокром пиджаке, с букетом роз и хризантем и ведром абрикосов. Не спросила «где ты был?» Не спросила «что случилось?» Сказала только:

— Карен-джан, я сварила суп. Будешь кушать?

Он упал перед ней на колени. Прямо в коридоре. Обхватил её ноги. И завыл — уже нормально, по-человечески, освобождая всё, что копилось долгое время. А она гладила его по голове, перебирала мокрые волосы, не понимая до конца, что произошло — но чувствуя. Я завёл машину и закурил — хотя вообще не курю. Руки немного дрожали. Почему-то поехал к Арарату. Встал на смотровой площадке у дороги. Гора была закрыта облаками — видна была только

нижняя часть, бурая, выветренная. Солнце садилось. Было очень красиво. Мысли текли сами собой. И я думал, сидя в своём ржавом «Мерседесе» с запахом бензина и абрикосов. Армяне это — это не «семья», «гостеприимство» и «христианство» из путеводителей. Армяне - это когда женщина в чёрном платке гладит по голове совершенно чужого мужчину, только потому, что чувствует его горе. Это когда монах берёт пистолет с порога церкви и не вызывает полицию, а шепчет: «Вставай и живи». Это когда ростовщик прощает долг, потому что его сестра умерла, и он на секунду увидел мир глазами того, кто теряет последнее. Это когда сын падает в ноги матери, а она спрашивает: «Ты будешь суп?» Я ещё я понял, что русский таксист и армянский должник в одну апрельскую грозу могут стать братьями не по крови, а по беде. Потому что у нас, у русских и армян, есть общее: мы умеем страдать не в одиночку. Мы лезем в чужую душу, как партизаны в тыл врага — с риском, без спроса, но часто с победой. Я снова завёл двигатель. Посмотрел на телефон — десять пропущенных заказов. Плевать. Я поехал в сторону дома. Включил радио — там пел Шарль Азнавур, великий армянин, который пел по-французски, но с армянским сердцем. Я улыбнулся, открыл окно и впустил ветер с Арарата. А если, читатель, ты спросишь после всего, что важнее всего на свете, то я отвечу: успеть дать человеку абрикос, когда он уже взял пистолет. Вот и весь менталитет. И армянский, и русский, и вообще человеческий. Включай поворотник, мой

дорогой читатель и... поворачивай к жизни. Помни всегда о том, что, что бы ни произошло в твоей жизни, но... за любой ночью, даже самой длинной, рано или поздно будет утро. Всегда... Потому, что это закон самой нашей жизни...

# Глава 6 Невозможный выбор

## Невозможный выбор.

Дождь стучал по крыше машины разбитым метрономом. Одиннадцатый час ночи, а Петрович всё ещё крутил баранку. В глазах стояла тягучая усталость, но смыкать их было нельзя — за рулём дремать смерти подобно. Он включил радио, поймал знакомую мелодию и на секунду прикрыл веки, вспомнив лицо дочери. Ксюша. Её смех, похожий на перезвон колокольчиков, теперь сменился тихими стонами во сне. Врачи разводили руками — нужна операция в Германии, два с половиной миллиона. Сумма для него астрономическая, почти фантастическая. Он мысленно перебирал варианты: взять ещё одну смену, продать старую дачу в Подмосковье, просить в долг у знакомых... Но всё это были капли в море. На заднем сиденье ворочался пассажир — дородный мужчина в смокинге, от которого пахло дорогим парфюмом и коньяком. Он что-то громко говорил в телефон, размахивая свободной рукой:

— Пусть попробует не подписать контракт! И меня больше сегодня не беспокоить, я — отдыхать. Всё остальное завтра. Петрович молча крутил руль. Таких пассажиров он возил много — самоуверенных, громких, считающих, что деньги решают всё. Они жили в другом измерении, где два

миллиона — это не цена жизни ребёнка, а пара часов работы. — Останови прямо здесь! — хамовато скомандовал пассажир, указывая на роскошное здание ночного клуба.

Он вывалился из машины, не попрощавшись и не закрыв дверь, продолжая орать в телефон и быстро скрылся в здании. Петрович вышел, чтобы захлопнуть дверь машины, и тут заметил на сиденье кожаный толстый бумажник, похожий на маленькую папку. Он взял его в руки и почувствовал тяжесть. Кожа была мягкой, дорогой. Сердце почему-то забилось чаще. Вернувшись за руль, он открыл бумажник. Внутри лежали две пачки новеньких пяти тысячных купюр. Почти третья часть от нужной суммы. Одна третья жизни его дочери. В голове зазвучали навязчивые мысли: «Он даже не хватится... Для него это мелочь... Ты же не украл, ты нашёл... Судьба даёт тебе шанс!» В бумажнике сбоку торчал край визитки. Петрович достал её и прочитал — «Сергей Владимирович Рокотов, генеральный директор». Он представил, как этот человек обнаружит потерю, махнёт рукой и поедет в банк за новыми деньгами. А тем временем он, Петрович, сможет положить эти деньги на операцию для Ксюши. Первый реальный шаг за долгие месяцы отчаянных поисков.

Он завёл машину и медленно поехал, не включая заказов. Город проносился за окном — яркий, безразличный. Он подъехал к мосту через Москву-реку, остановился на пустынной обочине и вышел из машины. Рассвет только начи-

нал красить небо в грязно-розовые тона. Петрович подошёл к парапету моста, держа в руках бумажник. «Одного движения достаточно, — думал он. — Выбросить деньги. Убрать это чёртово искушение. Но Ксюша». Мысли отчаянно билась в голове Петровича в бешеной агонии. Он почти не соображал и был на грани отчаяния, делая выбор, который невозможно было сделать... Тело противно дрожало, когда он занёс руку, чтобы бросить бумажник в реку...

Нет.

Он наотмашь со всей силой, сильно рубанул рукой по парапету, выпуская пар, и не чувствуя обжигающей от удара боли. От сильного удара портмоне чуть не выскользнуло из рук в воду и только издало слабый треск, чуть прорвавшейся качественной нити. Боль словно отрезвила и снова привела Петровича в чувство. Тяжело дыша Петрович сел в машину и через некоторое время набрал номер с визитки.

— Алло? — отозвался нетрезвый голос. — Кто это?

— Вы сегодня кошелёк в такси забыли пару часов назад, — глухо сказал Петрович. — Я могу подъехать к клубу, если Вы ещё там. --- Давай, -- глухо буркнул голос в ответ.

Полчаса спустя Петрович стоял у зеркального небоскрёба в Москва-Сити. Из клуба, пошатываясь вышел Рокотов — уже без смокинга, в расстёгнутой до середины белой рубашке и с красным пьяным лицом.

— А, таксист! — он почти выхватил бумажник из рук Петровича. — Деньги на месте? - Рокотов быстро глянул в раскрытый им бумажник, удовлетворённо кивнул и, достав одну пяти тысячную, протянул её Петровичу:

— На. Бухнёшь после смены. После чего, Рокотов - картинно высоко подбросил купюру и сразу обернувшись зашагал нетвёрдой походкой назад в клуб. Петрович не шелохнулся. Купюра, плавно планируя из стороны в сторону, приземлилась на тротуарную плитку. Петрович смотрел на купюру и на спину уходящего Рокотова. Ни тебе просто «спасибо», не смотря в глаза. Просто бросил деньги - как собаке кость. Очень захотелось догнать его и засунуть ему эти пять тысяч прямо в его самодовольную пасть. Но Петрович вновь сдержался. Второй раз за последних пару часов. Вернувшись в машину, он долго сидел, глядя в одну точку. В горле стоял ком. Но на душе было странно спокойно. Он вспомнил слова покойного отца: «Русский человек, сынок, богатство не в деньгах мерит, а в уважении к себе. И это уважение бесценно». Спустя некоторое время Петрович завёл машину и поехал в больницу. За окном автомобиля начиналось утро. К утру Ксюша обычно приходила в себя, словно просыпалась. Он очень хотел, чтобы первое, что она увидит сегодня, как и каждое утро — это его лицо. Лицо человека, который любит её больше жизни. Я смотрел на доченьку, на её улыбку, а душа разрывалась, метаясь, и не зная, как по-

мочь. Авось, Бог не оставит. Авось, найдётся другой выход. Это русское авось... И чудо случилось. Я абсолютно не понимаю, как это объяснить, но в этот же день нашёлся богатый покупатель на Подмосковную дачу, который даже не торговался. А остальную небольшую часть суммы собрал мой сосед Петька, из квартиры напротив, обойдя всех соседей в доме по собственной инициативе. Поэтому можно сказать, что спасали Ксюшеньку всем подъездом. Давали кто сколько мог. И мы... успели. Собрали недостающую сумму. Операцию в Германии сделали вовремя, и она прошла успешно. Я сидел сейчас в кресле и смотрел на свою повзрослевшую дочь. Прошло почти пять лет после операции. Ксюша стала совсем красавицей. Превратилась в подростка и стала похожа на свою мать. Доченька почти ничего не помнила о том времени, когда её жизнь висела на волоске. Но есть, наверное, сила, которая всегда решает и помогает тем, кто живёт по законам добра. И тогда я думаю только моя вера в чудо и любовь к дочурке помогли нам пережить эти нелёгкие времена. Да. Вера всегда сильнее лекарств и любых денег. Главное свято верить и тогда чудо обязательно произойдёт. Теперь я в этом нисколько не сомневался. Нужно ложиться отдыхать. Завтра будет новый день, новые заботы и счастье... Моё счастье, которое освещает теперь всю мою жизнь. И это счастье зовут Ксения...